

ПОСВЯЩАЮ

всем, кому не хватило жизни об этом рассказать.

И да простят они мне,

что я не всё увидел,

не всё вспомнил,

не обо всём догадался.

Часть Первая

ТЮРЕМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В эпоху диктатуры и окружённые со всех сторон врагами, мы иногда проявляли ненужную мягкость, ненужную мягкосердечность.

Крыленко, речь на процессе «Промпартии»

Глава 1

Арест

Как попадают на этот таинственный Архипелаг? Туда ежечасно летят самолёты, плывут корабли, гремят поезда — но ни единая надпись на них не указывает места назначения. И билетные кассиры, и агенты Совтуриста и Интуриста будут изумлены, если вы спросите у них туда билет.

Ни всего Архипелага в целом, ни одного из безчисленных его островков они не знают, не слышали.

Те, кто едут Архипелагом управлять, — попадают туда через училища МВД.

Те, кто едут Архипелаг охранять, — призываются через военкоматы.

А те, кто едут туда умирать, как мы с вами, читатель, те должны пройти непременно и единственно — через арест.

Арест!! Сказать ли, что это перелом всей вашей жизни? Что это прямой удар молнии в вас? Что это невмещаемое духовное сотрясение, с которым не каждый может освоиться и часто сползает в безумие?

Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. Каждый из нас — центр вселенной, и мироздание раскалывается, когда вам шипят: *«Вы арестованы!»*

Если уж *вы* арестованы — то разве ещё что-нибудь устояло в этом землетрясении?

Но затмившимся мозгом неспособные охватить этих перемещений мироздания, самые изошрённые и самые простоватые из нас не находятся в этот миг изо всего опыта жизни выдавить что-нибудь иное, кроме как:

— Я?? За что?!? —

вопрос, миллионы и миллионы раз повторенный ещё до нас и никогда не получивший ответа.

Арест — это мгновенный разительный переброс, перекид, перепласт из одного состояния в другое.

По долгой кривой улице нашей жизни мы счастливо неслись или несчастливо брели мимо каких-то заборов, заборов, заборов — гнилых деревянных, глинобитных дувалов, кирпичных, бетонных, чугунных оград. Мы не задумывались — что за ними? Ни глазом, ни разумением мы не пытались за них заглянуть — а там-то и начинается — страна ГУЛАГ, совсем рядом, в двух метрах от нас. И ещё мы не замечали в этих заборах несметного числа плотно подогнанных, хорошо замаскированных дверок, калиток. Все, все эти калитки были приготовлены для нас! — и вот распахнулась быстро роковая одна, и четыре белые мужские руки, не привыкшие к труду, но схватчивые, уцепляют нас за ногу, за руку, за воротник, за шапку, за ухо — вволакивают как куль, а калитку за нами, калитку в нашу прошлую жизнь, захлопывают навсегда.

Всё. Вы — арестованы!

И нич-ч-чего вы не находите на это ответить, кроме ягнячьего бляенья:

— Я-а?? За что??..

Вот что такое арест: это ослепляющая вспышка и удар, от которых настоящее разом сдвигается в прошедшее, а невозможное становится полноправным настоящим.

И всё. И ничего больше вы не способны усвоить ни в первый час, ни в первые даже сутки.

Ещё померцает вам в вашем отчаянии цирковая игрушечная луна: «Это ошибка! Разберутся!»

Всё же остальное, что сложилось теперь в традиционное и даже литературное представление об аресте, накопится и состроится уже не в вашей смятенной памяти, а в памяти вашей семьи и соседей по квартире.

Это — резкий ночной звонок или грубый стук в дверь. Это — бра-вый вход невытираемых сапог бодрствующих оперативников. Это — за спинами их напуганный прибитый понятой. (А зачем этот понятой? — думать не смеют жертвы, не помнят оперативники, но положено так по инструкции, и надо ему всю ночь просидеть, а к утру расписаться. И для выхваченного из постели понятого это тоже мука: ночь за ночью ходить и помогать арестовывать своих соседей и знакомых.)

Традиционный арест — это ещё сборы дрожащими руками для уводимого: смены белья, куска мыла, какой-то еды, и никто не знает, что надо, что можно и как лучше одеть, а оперативники торопят и обрывают: «Ничего не надо. Там накормят. Там тепло». (Всё лгут. А торопят — для страха.)

Традиционный арест — это ещё потом, после увода взятого бедняги, многочасовое хозяйничанье в квартире жёсткой чужой подавляющей силы. Это — взламывание, вспарывание, сброс и срыв со стен, выброс на пол из шкафов и столов, вытряхивание, рассыпание, разрывание — и нахламление горами на полу, и хруст под сапогами. И ни-

чего святого нет во время обыска! При аресте паровозного машиниста Иношина в комнате стоял гробик с его только что умершим ребёнком. *Юристы* выбросили ребёнка из гробика, они искали и там. И вытряхивают больных из постели, и разбинтовывают повязки*. И ничто во время обыска не может быть признано нелепым! У любителя старины Четверухина захватили «столько-то листов царских указов» — именно указ об окончании войны с Наполеоном, об образовании Священного Союза и молебствие против холеры 1830 года. У нашего лучшего знатока Тибета Вострикова изъяли драгоценные тибетские древние рукописи (и ученики умершего еле вырвали их из КГБ через 30 лет!). При аресте востоковеда Невского забрали тангутские рукописи (а через 25 лет за расшифровку их посмертно присуждена покойному Ленинская премия). У Каргера замели архив енисейских остяков, запретили избретенную им письменность и букварь — и остался народец без письменности. Интеллигентным языком это долго всё описывать, а народ говорит об обыске так: *ищут, чего не клали*.

Отобранное увозят, а иногда заставляют нести самого арестованного — как Нина Александровна Пальчинская потащила за плечом мешок с бумагами и письмами своего вечно деятельного покойного мужа, великого инженера России — в пасть к *ним*, навсегда, без возврата.

А для оставшихся после ареста — долгий хвост развороченной опустошённой жизни. И попытка пойти с передачами. Но изо всех окошек лающими голосами: «такой не числится», «такого нет!» Да к окошку этому в худые дни Ленинграда ещё надо пять суток толпиться в очереди. И только может быть через полгода-год сам арестованный аукнется или выбросят: «Без права переписки». А это уже значит — навсегда. «Без права переписки» — это почти наверняка: расстрелян.

Одним словом, «мы живём в проклятых условиях, когда человек пропадает без вести и самые близкие люди, жена и мать... годами не знают, что случилось с ним». Правильно? нет? Это написал Ленин в 1910 году в некрологе о Бабушкине. Только выразим прямо: вёз Бабушкин транспорт оружия для восстания, с ним и расстреляли. Он знал, на что шёл. Не скажешь этого о кроликах, нас.

Так представляем мы себе арест.

И верно, ночной арест описанного типа у нас излюблен, потому что в нём есть важные преимущества. Все живущие в квартире ущемлены ужасом от первого же стука в дверь. Арестуемый вырван из тепла постели, он ещё весь в полусонной безпомощности, рассудок его мутен. При ночном аресте оперативники имеют перевес в силах: их при-

* Когда в 1937 громили институт доктора Казакова, то сосуды с *лизатами*, избретенными им, «комиссия» разбивала, хотя вокруг прыгали исцелённые и исцеляемые калеки и умоляли сохранить чудодейственные лекарства. (По официальной версии, лизаты считались ядами — и отчего ж было не сохранить их как вещественные доказательства?)

езжает несколько вооружённых против одного, недостегнувшего брюк; за время сборов и обыска наверняка не соберётся у подъезда толпа возможных сторонников жертвы. Неторопливая постепенность прихода в одну квартиру, потом в другую, завтра в третью и в четвёртую, даёт возможность правильно использовать оперативные штаты и посадить в тюрьму многократно больше жителей города, чем эти штаты составляют.

И ещё то достоинство у ночных арестов, что ни соседние дома, ни городские улицы не видят, скольких увезли за ночь. Напугав самых ближних соседей, они для дальних не событие. Их как бы и не было. По той самой асфальтной ленте, по которой ночью сновали воронки, — днём шагает молодое племя со знамёнами и цветами и поёт немощные песни.

Но у *берущих*, чья служба и состоит из одних только арестов, для кого ужасы арестованных повторительны и докучны, у них понимание арестной операции гораздо шире. У них — большая теория, не надо думать в простоте, что её нет. Арестознание — это важный раздел курса общего тюремоведения, и под него подведена основательная общественная теория. Аресты имеют классификацию по разным признакам: ночные и дневные; домашние, служебные, путевые; первичные и повторные; расчленённые и групповые. Аресты различаются по степени требуемой неожиданности, по степени ожидаемого сопротивления (но в десятках миллионов случаев сопротивления никакого не ожидалось, как и не было его). Аресты различаются по серьёзности заданного обыска; по необходимости делать или не делать опись для конфискации, опечатку комнат или квартиры; по необходимости арестовывать вслед за мужем также и жену, а детей отправлять в детдом, либо весь остаток семьи в ссылку, либо ещё и стариков в лагерь.

И ещё отдельно есть целая Наука Обыска (и мне удалось прочесть брошюру для юристов-заочников Алма-Аты). Там очень хвалят тех юристов, которые при обыске не поленились переворшить 2 тонны навоза, 6 кубов дров, 2 воза сена, очистили от снега целый приусадебный участок, вынимали кирпичи из печей, разгребали выгребные ямы, проверяли унитазы, искали в собачьих будках, курятниках, скворечниках, прокалывали матрасы, срывали с тел пластырные наклейки и даже рвали металлические зубы, чтобы найти в них микродокументы. Студентам очень рекомендуется, начав с личного обыска, им же и закончить (вдруг человек подхватил что-либо из обысканного); и ещё раз потом прийти в то же место, но в новое время суток — и снова сделать обыск.

Нет-нет, аресты очень разнообразны по форме. Ирма Мендель, венгерка, достала как-то в Коминтерне (1926) два билета в Большой театр, в первые ряды. Следователь Клггель ухаживал за ней, и она его пригласила. Очень нежно они провели весь спектакль, а после этого он повёз её... прямо на Лубянку. И если в цветущий июньский день 1927 на Кузнецком мосту полнолицую русокосую красавицу Анну Скрипникову, только что купившую себе синей ткани на платье, ка-

кой-то молодой фронт подсаживает на извозчика (а извозчик уже понимает и хмурится: *Органы* не заплатят ему) — то знайте, что это не любовное свидание, а тоже арест: они завернут сейчас на Лубянку и въедут в чёрную пасть ворот. И если (двадцать две весны спустя) кавторанг Борис Бурковский, в белом кителе, с запахом дорогого одеколona, покупает торт для девушки — не клянитесь, что этот торт достанется девушке, а не будет иссечен ножами обыскивающих и внесён кавторангом в его первую камеру. Нет, никогда у нас не был в небрежении и арест дневной, и арест в пути, и арест в кипящем многолюдьи. Однако он исполняется чисто и — вот удивительно! — сами жертвы в согласии с оперативниками ведут себя как можно благороднее, чтобы не дать живущим заметить гибель обречённого.

Не всякого можно арестовывать дома с предварительным стуком в дверь (а если уж стучит, то «управдом», «почтальон»), не всякого следует арестовывать и на работе. Если арестуемый злоумышленник, его удобно брать в отрыве от привычной обстановки — от своих семейных, от сослуживцев, от единомышленников, от тайников: он не должен успеть ничего уничтожить, спрятать, передать. Крупным чинам, военным или партийным, порой давали сперва новое назначение, подавали им салон-вагон, а в пути арестовывали. Какой же нибудь безвестный смертный, замерший от повальных арестов и уже неделю угнетённый исподлобными взглядами начальства, — вдруг вызван в местком, где ему, сияя, преподносят путёвку в сочинский санаторий. Кролик прочувствовался — значит, его страхи были напрасны. Он благодарит, он, ликуя, спешит домой собирать чемодан. До поезда два часа, он ругает неповоротливую жену. Вот и вокзал! Ещё есть время. В пассажирском зале или у стойки с пивом его окликает симпатичнейший молодой человек: «Вы не узнаете меня, Пётр Иванович?» Пётр Иванович в затруднении: «Как будто нет, хотя...» Молодой человек изливается таким дружелюбным расположением: «Ну как же, как же, я вам напомню...» и почтительно кланяется жене Петра Ивановича: «Вы простите, ваш супруг через *одну минутку*...» Супруга разрешает, незнакомец уводит Петра Ивановича доверительно под руку — навсегда или на десять лет!

А вокзал снуёт вокруг — и ничего не замечает... Граждане, любящие путешествовать! Не забывайте, что на каждом большом вокзале есть отделение ГПУ и несколько тюремных камер.

Эта назойливость мнимых знакомых так резка, что человеку без лагерной волчьей подготовки от неё как-то и не отвязаться. Не думайте, что если вы — сотрудник американского посольства по имени, например, Александр Долган, то вас не могут арестовать среди белого дня на улице Горького близ Центрального телеграфа. Ваш незнакомый друг кинется к вам через людскую гущу, распахнув грабастые руки: «Са-ша! — не таится, а просто кричит он. — Керюха! Сколько лет, сколько зим?!.. Ну, отойдём в сторонку, чтоб людям не мешать». А в сторонке-то, у края тротуара, как раз «победа» подъехала... (Через

несколько дней ТАСС будет с гневом заявлять во всех газетах, что компетентным кругам ничего не известно об исчезновении Александра Долгана.) Да что тут мудрого? Наши молодцы такие аресты делали в Брюсселе (так взят Жора Бледнов), не то что в Москве.

Надо воздать Органам заслуженное: в век, когда речи ораторов, театральные пьесы и дамские фасоны кажутся вышедшими с конвейера, — аресты могут показаться разнообразными. Вас отводят в сторону в заводской проходной, после того как вы себя удостоверили пропуском, — и вы взяты; вас берут из военного госпиталя с температурой 39° (Анс Бернштейн), и врач не возражает против вашего ареста (попробовал бы он возразить!); вас берут прямо с операционного стола, с операции язвы желудка (Н.М. Воробьёв, инспектор крайнаробраза, 1936) — и сле живого, в крови, привозят в камеру (вспоминает Карпунич); вы (Надя Левитская) добиваетесь свидания с осуждённой матерью, вам дают его! — а это оказывается очная ставка и арест! Вас в «Гастрономе» приглашают в отдел заказов и арестовывают там; вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь Христа ради; вас арестовывает монтёр, пришедший снять показания счётчика; вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице; железнодорожный кондуктор, шофёр такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор — все они арестовывают вас, и с опозданием вы видите глубоко запрятанное бордовое удостоверениенице.

Иногда аресты кажутся даже игрой — столько положено на них избыточной выдумки, сытой энергии, а ведь жертва не сопротивлялась бы и без этого. Хотят ли оперативники так оправдать свою службу и свою многочисленность? Ведь кажется, достаточно разослать всем намеченным кроликам повестки — и они сами в назначенный час и минуту покорно явятся с узелком к чёрным железным воротам госбезопасности, чтобы занять участок пола в намеченной для них камере. (Да колхозников так и берут, неужели ещё ехать к его хате ночью по бездорожью? Его вызывают в сельсовет, там и берут. Чернорабочего вызывают в контору.)

Конечно, у всякой машины свой заглот, больше которого она не может. В натужные налитые 1945—46 годы, когда шли и шли из Европы эшелоны и их надо было все сразу поглотить и отправить в ГУЛАГ, — уже не было этой избыточной игры, сама теория сильно полиняла, облетели ритуальные перья, и выглядел арест десятков тысяч как убогая переключка: стояли со списками, из одного эшелона выликали, в другой сажали, и вот это был весь арест.

Политические аресты нескольких десятилетий отличались у нас именно тем, что схватывались люди ни в чём не виновные, а потому и не подготовленные ни к какому сопротивлению. Создавалось общее чувство обречённости, представление (при паспортной нашей системе довольно, впрочем, верное), что от ГПУ-НКВД убежать невозможно. И даже в разгар арестных эпидемий, когда люди, уходя на работу, вся-

кий день прощались с семьёй, ибо не могли быть уверены, что вернутся вечером, — даже тогда они почти не бежали (а в редких случаях кончали с собой). Что и требовалось. Смирная овца волку по зубам.

Это происходило ещё от непонимания механики арестных эпидемий. Органы чаще всего не имели глубоких оснований для выбора — какого человека арестовать, какого не трогать, а лишь достигали контрольной цифры. Заполнение цифры могло быть закономерно, могло же носить и совершенно случайный характер. В 1937 году в приёмную новочеркасского НКВД пришла женщина спросить: как быть с некормленным сосунком-ребёнком её арестованной соседки. «Посидите, — сказали ей, — выясним». Она посидела часа два — её взяли из приёмной и отвели в камеру: надо было спешно заполнять число, и не хватало сотрудников рассыпать по городу, а эта уже была здесь! Наоборот, к латышу Андрею Павлу под Оршей пришло НКВД его арестовать; он же, не открывая двери, выскочил в окно, успел убежать и напрямик уехал в Сибирь. И хотя жил он там под своей же фамилией, и ясно было по документам, что он — из Орши, он никогда не был посажен, ни вызван в Органы, ни подвергнут какому-либо подозрению. Ведь существует три вида розыска: всесоюзный, республиканский и областной, и почти по половине арестованных в те эпидемии не стали бы объявлять розыска выше областного. Намеченный к аресту по случайным обстоятельствам, вроде доноса соседа, человек легко заменялся другим соседом. Подобно А. Павлу, и люди, случайно попавшие под облаву или на квартиру с засадой и имевшие смелость в те же часы бежать, ещё до первого допроса, — никогда не ловились и не привлекались; а те, кто оставались дожидаться справедливости, — получали срок. И почти все, подавляюще, держались именно так: малодушно, беспомощно, обречённо.

Правда и то, что НКВД при отсутствии нужного ему лица брало подписку о невыезде с родственников и ничего, конечно, не составляло *оформить* оставшихся вместо бежавшего.

Всеобщая невинность порождает и всеобщее бездействие. Может, тебя ещё и *не возьмут*? Может, обойдётся? А.И. Ладыженский был ведущим преподавателем в школе захолустного Кологрива. В 37-м году на базаре к нему подошёл мужик и от кого-то передал: «Александр Иваныч, уезжай, ты в *списках!*» Но он остался: ведь на мне же вся школа держится, и их собственные дети у меня учатся — как же они могут меня взять?.. (Через несколько дней арестован.) Не каждому дано, как Ване Левитскому, уже в 14 лет понимать: «Каждый честный человек должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а вырасту я — и меня посадят». (Его посадили двадцати трёх лет.) Большинство коснеет в мерцающей надежде. Раз ты невиновен — то за что же могут тебя брать? Это ошибка! Тебя уже волокут за шиворот, а ты всё заклинаешь про себя: «Это ошибка! Разберутся — выпустят!» Других сажают повально, это тоже нелепо, но там ещё в каждом случае остаются потём-

ки: «а может быть, *этот* как раз...?» А уж ты! — ты-то наверняка невиновен! Ты ещё рассматриваешь Органы как учреждение человечески логичное: разберутся — выпустят.

И зачем тебе тогда бежать?.. И как же можно тебе тогда сопротивляться?.. Ведь ты только ухудшишь своё положение, ты помешаешь разобраться в ошибке. Не то что сопротивляться — ты и по лестнице спускаешься на цыпочках, как велено, чтоб соседи не слышали.

Как потом в лагерях жгло: а что, если бы каждый оперативник, идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернётся ли он живым, и прощался бы со своей семьёй? Если бы во времена массовых посадок, например в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, — а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бодро бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придётся? Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут, — так не ошибёшься, хрястнув по душегубцу. Или тот воронёк с одиноким шофёром, оставшийся на улице, — угнать его либо скаты проколоть. Органы быстро бы недосчитались сотрудников и подвижного состава, и, несмотря на всю жажду Сталина, — остановилась бы проклятая машина!

Если бы... если бы... Мы просто заслужили всё дальнейшее.

И потом — чему именно сопротивляться? Отобранию ли у тебя ремня? Или приказанию отойти в угол? переступить через порожек дома? Арест состоит из мелких околичностей, многочисленных пустяков — и ни из-за какого в отдельности как будто нет смысла спорить (когда мысли арестованного вьются вокруг великого вопроса: «за что?!»), — а все-то вместе эти околичности неминуемо и складываются в арест.

Да мало ли что бывает на душе у свежearестованного! — ведь это одно стоит книги. Там могут быть чувства, которых мы и не заподозрим. Когда арестовывали в 1921 году 19-летнюю Евгению Дояренко и три молодых чекиста рылись в её постели, в её комод с бельём, она оставалась спокойна: ничего нет, ничего и не найдут. И вдруг они коснулись её интимного дневника, которого она даже матери не могла бы показать, — и это чтение её строк враждебными чужими парнями поразило её сильнее, чем вся Лубянка с её решётками и подвалами. И у многих эти личные чувства и привязанности, поражаемые арестом, могут быть куда сильнее политических мыслей или страха тюрьмы. Человек, внутренне не подготовленный к насилию, всегда слабей насильника.

Редкие умницы и смельчаки соображают мгновенно. Директор геологического института Академии Наук Григорьев, когда пришли его арестовывать в 1949 году, забаррикадировался и два часа жёг бумаги.

Иногда главное чувство арестованного — облегчение и даже... радость, особенно во времена арестных эпидемий: когда вокруг берут и берут таких, как ты, а за тобой всё что-то не идут, всё что-то медлят —

ведь это изнеможение, это страдание хуже всякого ареста, и не только для слабой души. Василий Власов, безстрашный коммунист, которого мы ещё помянем не раз, отказавшийся от бегства, предложенного ему безпартийными его помощниками, изнемогал оттого, что всё руководство Кадынского района арестовали (1937), а его всё не брали, всё не брали. Он мог принять удар только лбом — принял его и успокоился, и первые дни ареста чувствовал себя великолепно. — Священник отец Иеракс (Бочаров) в 1934 поехал в Алма-Ату навестить ссыльных верующих, а тем временем на его московскую квартиру трижды приходили его арестовывать. Когда он возвращался, прихожанки встретили его на вокзале и не допустили домой, 8 лет перепрыгивали с квартиры на квартиру. От этой загнанной жизни священник так измучился, что, когда его в 1943 всё-таки арестовали, — он радостно пел Богу хвалу.

В этой главе мы всё говорим о массе, о кроликах, посаженных неведомо за что. Но придётся нам в книге ещё коснуться и тех, кто и в новое время оставался подлинно *политическим*. Вера Рыбакова, студентка социал-демократка, на воле *мечтала* о Суздальском изоляторе: только там она рассчитывала встретиться со старшими товарищами (на воле их уже не оставалось) и там выработать своё мировоззрение. Эсерка Екатерина Олицкая в 1924 даже считала себя недостойной быть посаженной в тюрьму: ведь её прошли лучшие люди России, а она ещё молода и ещё ничего для России не сделала. Но и *воля* уже изгоняла её из себя. Так обе они шли в тюрьму — с гордостью и радостью.

«Спротивление! Где же было ваше сопротивление?» — бранят теперь страдавших те, кто оставался благополучен.

Да, начинаться ему было отсюда, от самого ареста.

Не началось.

И вот — вас ведут. При дневном аресте обязательно есть этот короткий неповторимый момент, когда вас — неявно, по трусливому уговору, или совершенно явно, с обнажёнными пистолетами, — *ведут* сквозь толпу между сотнями таких же невинных и обречённых. И рот ваш не заткнут. И вам можно и непременно надо было бы кричать! Кричать, что вы арестованы! что переодетые злодеи ловят людей! что хватают по ложным доносам! что идёт глухая расправа над миллионами! И, слыша такие выкрики много раз на день и во всех частях города, может быть, сограждане наши ошетинились бы? может, аресты не стали бы так легки?!

В 1927, когда покорность ещё не настолько размягчила наши мозги, на Серпуховской площади днём два чекиста пытались арестовать женщину. Она охватила фонарный столб, стала кричать, не даваться. Собралась толпа. (Нужна была такая женщина, но нужна ж была и такая толпа! Прохожие не все потупили глаза, не все поспешили

шмыгнуть мимо!) Расторопные эти ребята сразу смутились. Они не могут *работать* при свете общества. Они сели в автомобиль и бежали. (И тут бы женщине сразу на вокзал и уехать! А она пошла ночевать домой. И ночью отвезли её на Лубянку.)

Но с *ваших* пересохших губ не срывается ни единого звука, и минующая толпа безпечно принимает вас и ваших палачей за прогуливающихся приятелей.

Сам я много раз имел возможность кричать.

На одиннадцатый день после моего ареста три смершевца-дармоеда, обременённые тремя чемоданами трофеев больше, чем мною (на меня за долгую дорогу они уже положились), привезли меня на Белорусский вокзал Москвы. Назывались они спецконвой, на самом деле автоматы только мешали им тащить тяжелейшие чемоданы — добро, награбленное в Германии ими самими и их начальниками из контрразведки СМЕРШ 2-го Белорусского фронта и теперь под предлогом конвоирования меня отвозимое семьям в Отечество. Четвёртый чемодан безо всякой охоты тащил я, в нём везлись мои дневники и творения — улики на меня.

Они все трое не знали города, и я должен был выбирать кратчайшую дорогу к тюрьме, я сам должен был привести их на Лубянку, на которой они никогда не были (а я её путал с министерством иностранных дел).

После суток армейской контрразведки; после трёх суток в контрразведке фронтовой, где однокамерники меня уже образовали (в следовательских обманах, угрозах, битье; в том, что однажды арестованного никогда не выпускают назад; в неотклонимости *десятки*), — я чудом вырвался вдурт и вот уже четыре дня еду как *вольный* и среди вольных, хотя бока мои уже лежали на гнилой соломе у парашаи, хотя глаза мои уже видели избитых и безсонных, уши слышали истину, рот отведал баланды — почему ж я молчу? почему ж я не просвещаю обманутую толпу в мою последнюю гласную минуту?

Я молчал в польском городе Бродницы — но может быть, там не понимают по-русски? Я ни слова не крикнул на улицах Белостока — но может быть, поляков это всё не касается? Я ни звука не проронил на станции Волковыск — но она была малолюдна. Я как ни в чём не бывало гулял с этими разбойниками по минскому перрону — но вокзал ещё разорён. А теперь я ввожу за собой смершевцев в белокупольный круглый верхний вестибюль метро «Белорусская»-радиальная, он залит электричеством, и снизу вверх навстречу нам двумя параллельными эскалаторами поднимаются густо уставленные москвичи. Они, кажется, все смотрят на меня! они безконечной лентой оттуда, из глубины незнания — тянутся, тянутся под сияющий купол ко мне хоть за словечком истины — так что ж я молчу??!..

А у каждого всегда дюжина гладеньких причин, почему он прав, что не жертвует собой.

Одни ещё надеются на благополучный исход и криком своим боятся его нарушить (ведь к нам не поступают вести из потустороннего мира, мы же не знаем, что с самого мига взятия наша судьба уже решена почти по худшему варианту и ухудшить её нельзя). Другие ещё не дозрели до тех понятий, которые слагаются в крик к толпе. Ведь это только у революционера его лозунги на губах и сами рвутся наружу, а откуда они у смиренного, ни в чём не замешанного обывателя? Он просто не знает, что ему кричать. И наконец, ещё есть разряд людей, у которых грудь слишком переполнена, глаза слишком много видели, чтобы можно было выплеснуть это озеро в нескольких бессвязных выкриках.

А я — я молчу ещё по одной причине: потому, что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне всё равно мало — мало! Тут мой вопль услышат двести, дважды двести человек — а как же с двумястами миллионами?.. Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я двумстам миллионам...

А пока, не раскрывшего рот, эскалатор неудержимо сволакивает меня в преисподнюю.

И ещё я в Охотном ряду смолчу.

Не крикну около «Метрополя».

Не взмахну руками на Голгофской Лубянской площади...

* * *

У меня был, наверно, самый лёгкий вид ареста, какой только можно себе представить. Он не вырвал меня из объятий близких, не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Дряблым европейским февралём он выхватил меня из нашей узкой стрелки к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они нас, — и лишил только привычного дивизиона да картины трёх последних месяцев войны.

Комбриг вызвал меня на командный пункт, спросил зачем-то мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого лукавства, — и вдруг из напряжённой неподвижной в углу офицерской свиты выбежали двое контрразведчиков, в несколько прыжков пересекли комнату и, четырьмя руками одновременно хватаясь за звёздочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали:

— Вы — арестованы!!

И, обожжённый и проколотый от головы к пяткам, я не нашёлся ничего умней, как:

— Я? За что?!..

Хотя на этот вопрос не бывает ответа, но вот удивительно — я его получил! Это стоит упомянуть потому, что уж слишком непохоже на наш обычай. Едва смершевцы кончили меня потрошить, вместе с сумкой отобрали мои политические письменные размышления и, угнетаемые дрожанием стёкол от немецких разрывов, подталкивали меня скорей к выходу — раздалось вдруг твёрдое обращение ко мне — да!

через этот глухой обруб между остававшимися и мною, обруб от тяжело упавшего слова «арестован», через эту чумную черту, через которую уже ни звука не смело просочиться, — перешли немислимые, сказочные слова комбрига:

— Солженицын. Вернитесь.

И я крутым поворотом выбился из рук смершевцев и шагнул к комбригу назад. Я его мало знал, он никогда не снисходил до простых разговоров со мной. Его лицо всегда выражало для меня приказ, команду, гнев. А сейчас оно задумчиво осветилось — стыдом ли за своё подневольное участие в грязном деле? порывом стать выше всежизненного жалкого подчинения? Десять дней назад из мешка, где оставался его огневой дивизион, двенадцать тяжёлых орудий, я вывел почти что целой свою разведбатарею — и вот теперь он должен был отречься от меня перед клочком бумаги с печатью?

— У вас... — веско спросил он, — есть друг на Первом Украинском фронте?

— Нельзя!.. Вы не имеете права! — закричали на полковника капитан и майор контрразведки. Испуганно сжалась свита штабных в углу, как бы боясь разделить неслыханную опрометчивость комбрига (а поллитотдельцы — и готовясь дать на комбрига *материал*). Но с меня уже было довольно: я сразу понял, что я арестован за переписку с моим школьным другом, и понял, по каким линиям ждать мне опасности.

И хоть на этом мог бы остановиться Захар Георгиевич Травкин! Но нет! Продолжая очищаться и распрямляться перед самим собою, он поднялся из-за стола (он никогда не вставал навстречу мне в той прежней жизни!), через чумную черту протянул мне руку (вольному, он никогда мне её не протягивал!) и, в рукопожатии, при немом ужасе свиты, с отеплённостью всегда сурового лица сказал безстрашно, раздельно:

— Желаю вам — счастья — капитан!

Я не только не был уже капитаном, но я был разоблачённый враг народа (ибо у нас всякий арестованный уже с момента ареста и полностью разоблачён). Так он желал счастья — врагу?..

Дрожали стёкла. Немецкие разрывы терзали землю метрах в двухстах, напоминая, что *этого* не могло бы случиться там, глубже на нашей земле, под колпаком устоявшегося бытия, а только под дыханием близкой и ко всем равной смерти*.

Эта книга не будет воспоминаниями о собственной жизни. Поэтому я не буду рассказывать о забавнейших подробностях моего ни на что не похожего ареста. В ту ночь смершевцы совсем отчаялись разо-

* И вот удивительно: человеком всё-таки можно быть! — Травкин не пострадал. Недавно мы с ним радушно встретились и познакомились впервые. Он — генерал в отставке и ревизор в Союзе охотников.

браться в карте (они никогда в ней и не разбирались) и с любезностями вручили её мне и просили говорить шофёру, как ехать в армейскую контрразведку. Себя и их я сам привёз в эту тюрьму и в благодарность был тут же посажен не просто в камеру, а в карцер. Но вот об этой кладовочке немецкого крестьянского дома, служившей временным карцером, нельзя упустить.

Она имела длину человеческого роста, а ширину — троим лежать тесно, а четверым — впритыску. Я как раз был четвертым, втолкнув уже после полуночи, трое лежавших поморщились на меня со сна при свете керосиновой коптилки и подвинулись, давая место нависнуть боком и постепенно силой тяжести вклиниваться. Так на истолчённой сололке пола стало нас восемь сапог к двери и четыре шинели. Они спали, я пылал. Чем самоуверенней я был капитаном полдня назад, тем больней было зацементиться на дне этой каморки. Раз-другой ребяга просыпались от затеклости бока, и мы разом переворачивались.

К утру они отоспались, зевнули, крикнули, подобрали ноги, рассунились в разные углы — и началось знакомство.

— А ты за что?

Но смутный ветерок настороженности уже опажнул меня под отравленной кровлею СМЕРША, и я простосердечно удивился:

— Понятия не имею. Рази ж говорят, гады?

Однако сокамерники мои — танкисты в чёрных мягких шлемах — не скрывали. Это были три честных, три немудрящих солдатских сердца — род людей, к которым я привязался за годы войны, будучи сам и сложнее и хуже. Все трое они были офицерами. Погоны их тоже были сорваны с озлоблением, кое-где торчало и нитяное мясо. На замызганных гимнастёрках светлые пятна были следы свинченных орденов, тёмные и красные рубцы на лицах и руках — память ранений и ожогов. Их дивизион, на беду, пришёл ремонтироваться сюда, в ту же деревню, где стояла контрразведка СМЕРШ 48-й армии. Отволгнув от боя, который был позавчера, они вчера выпили и на задворках деревни вломились в баню, куда, как они заметили, пошли мыться две забористые девки. От их плохопослушных пьяных ног девушки успели, полуодевшись, ускакать. Но оказалась одна из них не чья-нибудь, а — начальника контрразведки армии.

Да! Три недели уже война шла в Германии, и все мы хорошо знали: окажись девушки немки — их можно было изнасиловать, следом расстрелять, и это было бы почти боевое отличие; окажись они польки или наши угнанные русачки — их можно было бы, во всяком случае, гонять голыми по огороду и хлопать по ляжкам — забавная шутка, не больше. Но поскольку эта была «походно-полевая жена» начальника контрразведки — с трёх боевых офицеров какой-то тыловой сержант сейчас же злобно сорвал погоны, утверждённые приказом по фронту, снял ордена, выданные Президиумом Верховного Совета, — и теперь этих вояк, прошедших всю войну и смявших, может быть, не одну ли-

нию вражеских траншей, ждал суд военного трибунала, который без их танка ещё б и не добрался до этой деревни.

Коптилку мы погасили, и так уж она сожгла всё, чем нам тут дышать. В двери был прорезан волчок величиной с почтовую открытку, и оттуда падал не прямой свет коридора. Будто безпокоясь, что с наступлением дня нам в карцере станет слишком просторно, к нам тут же *подкинули* пятого. Он вшагнул в новенькой красноармейской шинели, шапке тоже новой и, когда стал против волчка, явил нам курносое свежее лицо с румянцем во всю щеку.

— Откуда, брат? Кто такой?

— С *той* стороны, — бойко ответил он. — Шпиён.

— Шутить? — обомлели мы. (Чтобы шпион, и сам об этом говорил — так никогда не писали Шейнин и братья Тур!)

— Какие могут быть шутки в военное время! — рассудительно вздохнул паренёк. — А как из плена домой вернуться? — ну научите.

Он едва успел начать нам рассказ, как его сутки назад немцы перевели через фронт, чтоб он тут шпионил и рвал мосты, а он тотчас же пошёл в ближайший батальон сдаваться, и безсонный измотанный комбат никак ему не верил, что он шпион, и посылал к сестре выпить таблеток, — вдруг новые впечатления ворвались к нам:

— На opravку! Руки назад! — звал через распахнувшуюся дверь старшина-лоб, вполне бы годный перетягивать хобот 122-миллиметровой пушки.

По всему крестьянскому двору уже расставлено было оцепление автоматчиков, охранявшее указанную нам тропку в обход сарая. Я взрылся от негодования, что какой-то невежа-старшина смел командовать нам, офицерам, «руки назад», но танкисты взяли руки назад, и я пошёл вослед.

За сараем был маленький квадратный загон с ещё не стаявшим утоптаным снегом — и весь он был загажен кучками человеческого кала, так беспорядочно и густо по всей площади, что нелегка была задача — найти, где бы поставить две ноги и присесть. Всё же мы разобрались и в разных местах присели все пятеро. Два автоматчика угрюмо выставили против нас, низко присевших, автоматы, а старшина, не прошло минуты, резко понукал:

— Ну, поторапливайся! У нас быстро оправляются!

Невдалеке от меня сидел один из танкистов, ростовчанин, рослый хмурый старший лейтенант. Лицо его было зачернено налётом металлической пыли или дыма, но большой красный шрам через щеку хорошо на нём заметен.

— Где это — у вас? — тихо спросил он, не выказывая намерения торопиться в карцер, пропахший керосином.

— В контрразведке СМЕРШ! — гордо и звончей чем требовалось отрубил старшина. (Контрразведчики очень любили это безвкусно сляпанное — из «смерть шпионам» — слово. Они находили его пугающим.)

— А у нас — медленно, — раздумчиво ответил старший лейтенант. Его шлем сбился назад, обнажая на голове ещё не состриженные волосы. Его одубелая фронтальная задница была подставлена приятному холодному ветерку.

— Где это — у вас? — громче чем нужно гавкнул старшина.

— В Красной армии, — очень спокойно ответил старший лейтенант с коротчек, меряя взглядом несостоявшегося хоботного.

Таковы были первые глотки моего тюремного дыхания.

Глава 2

История нашей канализации

Когда теперь бранят *произвол культа*, то упираются всё снова и снова в настрывшие 1937–38 годы. И так это начинает запоминаться, как будто ни *до* не сажали, ни *после*, а только вот в 37–38-м.

Не боюсь, однако, ошибиться, сказав: *поток* 37–38-го ни единственным не был, ни даже главным, а только, может быть, — одним из трёх самых больших потоков, распиравших мрачные зловонные трубы нашей тюремной канализации.

До него был поток 29–30-го годов, с добрую Обь, протолкнувший в тундру и тайгу миллионов пятнадцать мужиков (а как бы и не поболее). Но мужики — народ безсловесный, безписьменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров. С ними и следователи по ночам не корпели, на них и протоколов не тратили — довольно и сельсоветского постановления. Пролился этот поток, всосался в вечную мерзлоту, и даже самые горячие умы о нём почти не вспоминают. Как если бы русскую совесть он даже и не поранил. А между тем не было у Сталина (и у нас с вами) преступления тяжелей.

И после был поток 44–46-го годов, с добрый Енисей: гнали по сточным трубам целые нации и ещё миллионы и миллионы — побывавших (из-за нас же!) в плену, увезенных в Германию и вернувшихся потом. (Это Сталин прижигал раны, чтоб они поскорей заструпились и не стало бы надо всему народному телу отдохнуть, раздышаться, подправиться.) Но и в этом потоке народ был больше простой и мемуаров не написал.

А поток 37-го года прихватил и понёс на Архипелаг также и людей с положением, людей с партийным прошлым, людей с образованием, да вокруг них много пораненных осталось в городах, и сколько с пером! — и все теперь вместе пишут, говорят, вспоминают: тридцать седьмой! Волга народного горя!

А скажи крымскому татарину, калмыку или чечену «тридцать седьмой» — он только плечами пожмёт. А Ленинграду что тридцать седь-

мой, когда прежде был тридцать пятый? А *повторникам* или прибалтам не тяжче был 48–49-й? И если попрекнут меня ревнители стиля и географии, что ещё упустил я в России реки, так и потоки ещё не названы, дайте страниц! Из потоков и остальные сольются.

Известно, что всякий орган без упражнения отмирает.

Итак, если мы знаем, что *Органы* (этим гадким словом они назвали себя сами), воспетые и приподнятые надо всем живущим, не отмирали ни единым щупальцем, но, напротив, наращивали их и крепили мускулатурой, — легко догадаться, что они упражнялись постоянно.

По трубам была пульсация — напор то выше проектного, то ниже, но никогда не оставались пустыми тюремные каналы. Кровь, пот и моча — в которые были выжаты мы — хлестали по ним постоянно. История этой канализации есть история непрерывного заглота и течения, только половодья сменялись меженьями и опять половодьями, потоки сливались то большие, то меньшие, ещё со всех сторон текли ручейки, ручейчки, стоки по желобкам и просто отдельные захваченные капельки.

Приводимый дальше повременной перечень, где равно упоминаются и потоки, состоявшие из миллионов арестованных, и ручейки из простых неприметных десятков, — очень ещё не полон, убог, ограничен моей способностью проникнуть в прошлое. Тут потребуется много дополнений от людей знающих и оставшихся в живых.

* * *

В этом перечне труднее всего начать. И потому, что чем глубже в десятилетия, тем меньше осталось свидетелей, молва загасла и затемнилась, а летописей нет или под замком. И потому, что не совсем справедливо рассматривать здесь в едином ряду и годы особого ожесточения (Гражданская война), и первые мирные годы, когда ожидалось бы милосердие.

Но ещё и до всякой Гражданской войны увиделось, что Россия в таком составе населения, как она есть, ни в какой социализм, конечно, не годится, что она вся загажена. Один из первых ударов диктатуры пришёлся по кадетам (при царе — крайняя зараза революции, при власти пролетариата — крайняя зараза реакции). В конце ноября 1917, в первый несостоявшийся срок созыва Учредительного Собрания, партия кадетов была объявлена вне закона и начались аресты их. Около того же времени проведены *посадки* «Союза защиты Учредительного Собрания» и системы «солдатских университетов».

По смыслу и духу революции легко догадаться, что в эти месяцы наполнялись Кресты, Бутырки и многие родственные им провинциальные тюрьмы — крупными богачами; видными общественными деятелями, генералами и офицерами; да чиновниками министерств и всего государственного аппарата, не выполняющими распоряжений новой власти. Одна из первых операций ЧК — арест стачечного коми-

СОДЕРЖАНИЕ

Свидетели Архипелага, чьи рассказы, письма, мемуары и поправки
использованы при создании этой книги 12

Часть Первая ТЮРЕМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Глава 1. Арест	19
Глава 2. История нашей канализации	33
Глава 3. Следствие	81
Глава 4. Голубые канты	116
Глава 5. Первая камера — первая любовь	138
Глава 6. Та весна	177
Глава 7. В машинном отделении	210
Глава 8. Закон-ребёнок	226
Глава 9. Закон мужает	254
Глава 10. Закон созрел	282
Глава 11. К высшей мере	323
Глава 12. Тюрзак	341

Часть Вторая ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Глава 1. Корабли Архипелага	360
Глава 2. Порты Архипелага	388
Глава 3. Караваны невольников	409
Глава 4. С острова на остров	423

Часть Третья ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ

Глава 1. Персты Авроры	441
Глава 2. Архипелаг возникает из моря	453
Глава 3. Архипелаг даёт метастазы	487
Глава 4. Архипелаг камнеет	524
Глава 5. На чём стоит Архипелаг	539
Глава 6. Фашистов привезли!	556
Глава 7. Туземный быт	577
Глава 8. Женщина в лагере	596
Глава 9. Придурки	611

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 10. Вместо политических	640
Глава 11. Благонамеренные	661
Глава 12. Стук-стук-стук...	682
Глава 13. Сдавши шкуру, сдай вторую!	697
Глава 14. Менять судьбу!	709
Глава 15. ШИЗО, БУРЫ, ЗУРЫ	723
Глава 16. Социально-близкие	730
Глава 17. Малолетки	744
Глава 18. Музы в ГУЛАГе	758
Глава 19. Ээки как нация (Этнографический очерк Фан Фаньча)	783
Глава 20. Псовая служба	805
Глава 21. Прилагерный мир	826
Глава 22. Мы строим	835

Часть Четвёртая ДУША И КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА

Глава 1. Восхождение	849
Глава 2. Или растление?	863
Глава 3. Замордованная воля	872
Глава 4. Несколько судеб	888

Часть Пятая КАТОРГА

Глава 1. Обречённые	900
Глава 2. Ветерок революции	922
Глава 3. Цепи, цепи...	936
Глава 4. Почему терпели?	953
Глава 5. Поэзия под плитой, правда под камнем	971
Глава 6. Убеждённый беглец	992
Глава 7. Белый котёнок (Рассказ Георгия Тэнно)	1012
Глава 8. Побег с моралью и побег с инженерией	1039
Глава 9. Сынки с автоматами	1057
Глава 10. Когда в зоне пылает земля	1063
Глава 11. Цепи рвём на ощупь	1079
Глава 12. Сорок дней Кенгира	1107

Часть Шестая ССЫЛКА

Глава 1. Ссылка первых лет свободы	1143
Глава 2. Мужичья чума	1154
Глава 3. Ссылка густеет	1168

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 4. Ссылка народов	1180
Глава 5. Кончив срок	1195
Глава 6. Ссылное благоденствие	1207
Глава 7. Зэки на воле	1224

Часть Седьмая СТАЛИНА НЕТ

Глава 1. Как это теперь через плечо	1242
Глава 2. Правители меняются, Архипелаг остаётся	1259
Глава 3. Закон сегодня	1287
Послесловие	1305
Ещё после	1307
И ещё через десять лет	1308
Содержание глав	1309
Некоторые тюремно-лагерные термины	1336
Некоторые советские сокращения и выражения	1339
Именной указатель	1342
От редактора	1417